

Хосе Ортега-и-Гассет ВОССТАНИЕ МАСС

Перевод А. М. Гелескула, 1991 г.

I. ФЕНОМЕН СТАДНОСТИ

<...> Толпа – понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии. И получим «массу». Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство – совокупность лиц, выделенных особо; масса – не выделенных ничем. Речь, следовательно, идет не только и не столько о «рабочей массе». Масса – это средний человек. Таким образом, чисто количественное определение – «многие» – переходит в качественное. Это совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип. Какой смысл в этом переводе количества в качество? Простейший – так понятнее происхождение массы. До банальности очевидно, что стихийный рост ее предполагает совпадение целей, мыслей, образа жизни. Но не так ли обстоит дело и с любым сообществом, каким бы избранным оно себя ни полагало? В общем, да. Но есть существенная разница.

В сообществах, чуждых массовости, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что само по себе исключает многочисленность. Для создания меньшинства, какого угодно, сначала надо, чтобы каждый по причинам особым, более или менее личным, отпал от толпы. Его совпадение с теми, кто образует меньшинство, – это позднейший, вторичный результат особости каждого и, таким образом, это во многом совпадение несовпадений. Порой печать отъединенности бросается в глаза: именующие себя «нонконформистами» англичане – союз согласных лишь в несогласии с обществом. Но сама установка – объединение как можно меньшего числа для отъединения от как можно большего – входит составной частью в структуру каждого меньшинства. Говоря об избранной публике на концерте изысканного музыканта, Малларме тонко заметил, что этот узкий круг своим присутствием демонстрировал отсутствие толпы.

В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному-единственному человеку можно определить, масса это или нет. Масса – всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь мерить себя особой мерой – задаваясь вопросом, есть ли у него какое-то дарование, умение, достоинство, – убеждается, что нет никакого. Этот человек почувствует себя заурядностью, бездарностью, серостью. Но не массой.

Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передегривают смысл этого выражения, притворно забывая, что избранные – не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно. И, конечно, радикальнее всего делить человечество на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить – это плыть по течению, оставаясь таким, какой ни на есть, и не силясь перерасти себя.

Это напоминает мне две ветви ортодоксального буддизма: более трудную и требовательную махаяну – «большую колесницу», или «большой путь», – и более будничную и блеклую хинаяну – «малую колесницу», «малый путь»[1]. Главное и решающее – какой колеснице мы вверим нашу жизнь.

Таким образом, деление общества на массы и избранные меньшинства – типологическое и не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их иерархией. Разумеется, высшему классу, когда он становится высшим и пока действительно им остается, легче выдвинуть человека «большой колесницы», чем низшему. Но в действительности внутри любого класса есть собственные массы и меньшинства. Нам еще предстоит убедиться, что плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно элитарных – характерное свойство нашего времени. Так интеллектуальная жизнь, казалось бы взыскательная к мысли, становится триумфальной дорогой псевдоинтеллигентов, не мыслящих, немислимых и ни в каком виде неприемлемых. Ничем не лучше останки «аристократии», как мужские, так и женские. И, напротив, в рабочей среде, которая прежде считалась эталоном «массы», не редкость сегодня встретить души высочайшего закала.

<...>

Масса – это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не социальный сдвиг, а всего-навсего самообман. Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, отличиться – неприлично. Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным. И ясно, что «все» – это еще не все. Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир становится массой.

Такова жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость.

V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В этой работе я хотел бы угадать недуг нашего времени, нашей сегодняшней жизни. И первые результаты можно обобщить так: современная жизнь грандиозна, избыточна и превосходит любую исторически известную. Но именно потому, что напор ее так велик, она вышла из берегов и смысла все завещанные нам устои,

нормы и идеалы. В ней больше жизни, чем в любой другой, и по той же причине больше нерешенного. Она уже не может придерживаться прошлого¹. Ей надо самой творить свою собственную судьбу.

Но диагноз пора дополнить. Жизнь – это прежде всего наша возможная жизнь, то, чем мы способны стать, и как выбор возможного – наше решение, то, чем мы действительно становимся. Обстоятельства и решения – главные слагающие жизни. Обстоятельства, то есть возможности, нам заданы и навязаны. Мы называем их миром. Жизнь не выбирает себе мира, жить – это очутиться в мире окончательном и неразменном, сейчас и здесь. Наш мир – это предрешенная сторона жизни. Но предрешенная не механически. Мы не пущены в мир, как пуля из ружья, по неукоснительной траектории. Неизбежность, с которой сталкивает нас этот мир – а мир всегда этот, сейчас и здесь, – состоит в обратном. Вместо единственной траектории нам задается множество, и мы соответственно обречены... выбирать себя. Немыслимая предпосылка! Жить – это вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. И решать без усталости и без передышки. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая, мы принимаем решение – не решать. Неправда, что в жизни «решают обстоятельства». Напротив, обстоятельства – это дилемма вечно новая, которую надо решать. И решает ее наш собственный склад.

Все это применимо и к общественной жизни. У нее, во-первых, есть тоже горизонт возможного и, во-вторых, решение в выборе совместного жизненного пути. Решение зависит от характера общества, его склада, или, что одно и то же, от преобладающего типа людей. Сегодня преобладает масса и решает она. И происходит нечто иное, чем в эпоху демократии и всеобщего голосования. При всеобщем голосовании массы не решали, а присоединялись к решению того или другого меньшинства. Последние предлагали свои «программы» – отличный термин. Эти программы – по сути, программы совместной жизни – приглашали массу одобрить проект решения.

Сейчас картина иная. Всюду, где торжество массы растет, – например, в Средиземноморье – при взгляде на общественную жизнь поражает то, что политически там перебиваются со дня на день. Это более чем странно. У власти – представители масс. Они настолько всемогущи, что свели на нет саму возможность оппозиции. Это бесспорные хозяева страны, и нелегко найти в истории пример подобного всевластия. И тем не менее государство, правительство живут сегодняшним днем. Они не распахнуты будущему, не представляют его ясно и открыто, не кладут начало чему-то новому, уже различимому в перспективе. Словом, они живут без жизненной программы. Не знают, куда идут, потому что не идут никуда, не выбирая и не прокладывая дорог. Когда такое правительство ищет самооправданий, то не поминает всеу день завтрашний, а, напротив, упирается на сегодняшний и говорит с завидной прямоотой: «Мы – чрезвычайная власть, рожденная чрезвычайными обстоятельствами». То есть злобой дня, а не дальней перспективой. Недаром и само правление сводится к тому, чтобы постоянно выпутываться, не решая проблем, а всеми способами увиливая от них и тем самым рискуя сделать их неразрешимыми. Таким всегда было прямое правление массы – всемогущим и призрачным. Масса – это те, кто плывет по течению и лишен ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если возможности и силы его огромны.

И как раз этот человеческий склад сегодня решает. Право же, стоит в нем разобраться.

Ключ к разгадке – в том вопросе, что прозвучал уже в начале моей работы: откуда возникли все эти толпы, захлестнувшие сегодня историческое пространство?

Не так давно известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен бы впечатлить каждого, кто озабочен современностью. Факт сам по себе достаточный, чтобы открыть нам глаза на сегодняшнюю Европу, по меньшей мере обратить их в нужную сторону. Дело в следующем: за все двенадцать веков своей истории, с шестого по девятнадцатый, европейское население ни разу не превысило ста восьмидесяти миллионов. А за время с 1800 по 1914 год – за столетие с небольшим – достигло четырехсот шестидесяти. Контраст, полагаю, не оставляет сомнений в плодovitости прошлого века. Три поколения подряд человеческая масса росла как на дрожжах и, хлынув, затопила тесный отрезок истории. Достаточно, повторяю, одного этого факта, чтобы объяснить триумф масс и все, что он сулит. С другой стороны, это еще одно, и притом самое ошутимое, слагаемое того роста жизненной силы, о котором я упоминал.

Эта статистика, кстати, умеряет наше беспочвенное восхищение ростом молодых стран, особенно Соединенных Штатов. Кажется сверхъестественным, что население США за столетие достигло ста миллионов, а ведь куда сверхъестественней европейская плодovitость. Лишнее доказательство, что американизация Европы иллюзорна. Даже самая, казалось бы, отличительная черта Америки – ускоренный темп ее заселения – не самобытна. Европа в прошлом веке заселялась куда быстрее. Америку создали европейские излишки.

Хотя выкладки Вернера Зомбарта и не так известны, как того заслуживают, сам загадочный факт заметного увеличения европейцев слишком очевиден, чтобы на нем задерживаться. Суть не в цифрах народонаселения, а в их контрастности, вскрывающей внезапный и головокружительный темп роста. В этом и соль. Головокружительный рост означает все новые и новые толпы, которые с таким ускорением извергаются на поверхность истории, что не успевают пропитаться традиционной культурой.

И в результате современный средний европеец душевно здоровее и крепче своих предшественников, но и душевно беднее. Оттого он порой смахивает на дикаря, внезапно забредшего в мир вековой цивилизации. Школы, которыми так гордился прошлый век, внедрили в массу современные жизненные навыки, но не сумели воспитать ее. Снабдили ее средствами для того, чтобы жить полнее, но не смогли наделить ни историческим чутьем, ни чувством исторической ответственности. В массу вдохнули силу и спесь современного прогресса, но

¹ Научимся, однако, извлекать из прошлого если не позитивный, то хотя бы негативный опыт. Прошлое не надоумит, что делать, но подскажет, чего избегать.

забыли о духе. Естественно, она и не помышляет о духе, и новые поколения, желая править миром, смотрят на него как на первозданный рай, где нет ни давних следов, ни давних проблем.

Славу и ответственность за выход широких масс на историческое поприще несет XIX век. Только так можно судить о нем беспристрастно и справедливо. Что-то небывалое и неповторимое крылось в его климате, раз вызрел такой человеческий урожай. Не усвоив и не переварив этого, смешно и легкомысленно отдавать предпочтение духу иных эпох. Вся история предстает гигантской лабораторией, где ставятся все мыслимые и немыслимые опыты, чтобы найти рецепт общественной жизни, наилучшей для культивации «человека». И, не прибегая к уверткам, следует признать данные опыта: человеческий посев в условиях либеральной демократии и технического прогресса – двух основных факторов – за столетие утроил людские ресурсы Европы.

Такое изобилие, если мыслить здраво, приводит к ряду умозаключений: первое – либеральная демократия на базе технического творчества является высшей из донныне известных форм общественной жизни; второе – вероятно, это не лучшая форма, но лучшие возникнут на ее основе и сохраняют ее суть, и третье – возвращение к формам низшим, чем в XIX веке, самоубийственно.

И вот, разом уяснив себе все эти вполне ясные вещи, мы должны предъявить XIX веку счет. Очевидно, наряду с чем-то небывалым и неповторимым имелись в нем и какие-то врожденные изъяны, коренные пороки, поскольку он создал новую породу людей – мятежную массу – и теперь она угрожает тем основам, которым обязана жизнью. Если этот человеческий тип будет по-прежнему хозяйничать в Европе и право решать останется за ним, то не пройдет и тридцати лет, как наш континент одичает. Наши правовые и технические достижения исчезнут с той же легкостью, с какой не раз исчезали секреты мастерства². Жизнь съжится. Сегодняшний избыток возможностей обернется беспросветной нуждой, скарденностью, тоскливым бесплодием. Это будет неподдельный декаданс. Потому что восстание масс и есть то самое, что Ратенау называл «вертикальным одичанием».

Поэтому так важно взглянуться в массового человека, в эту чистую потенцию как высшего блага, так и высшего зла.

VI. ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ МАССОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Кто он, тот массовый человек, что главенствует сейчас в общественной жизни, политической и не политической? Почему он такой, какой есть, иначе говоря, как он получился таким?

Оба вопроса требуют совместного ответа, потому что взаимно проясняют друг друга. Человек, который намерен сегодня возглавлять европейскую жизнь, мало похож на тех, кто двигал XIX век, но именно XIX веком он рожден и вскормлен. Проницательный ум, будь то в 1820-м, 1850-м или 1880 году, простым рассуждением а priori мог предвосхитить тяжесть современной исторической ситуации. И в ней действительно нет ровным счетом ничего, не предугаданного сто лет назад. «Массы надвигаются!»[2] – апокалиптически восклицал Гегель. «Без новой духовной власти наша эпоха – эпоха революционная – кончится катастрофой»[3], – предрекал Огюст Конт. «Я вижу всемирный потоп нигилизма!» – кричал с энгадинских круч усатый Ницше. Неправда, что история непредсказуема. Сплошь и рядом пророчества сбывались. Если бы грядущее не оставляло бреши для предвидений, то и впредь, исполняясь и становясь прошлым, оно оставалось бы непонятным. В шутке, что историк – пророк наизнанку, заключена вся философия истории. Конечно, можно провидеть лишь общий каркас будущего, но ведь и в настоящем или прошлом это единственное, что, в сущности, доступно. Поэтому, чтобы видеть свое время, надо смотреть с расстояния. С какого? Достаточного, чтобы не различать носа Клеопатры.

Какой представлялась жизнь той человеческой массе, которую в изобилии плодил XIX век? Прежде всего и во всех отношениях – материально доступной. Никогда еще рядовой человек не утолял с таким размахом свои житейские запросы. По мере того как таяли крупные состояния и ужесточалась жизнь рабочих, экономические перспективы среднего слоя становились день ото дня все шире. Каждый день вносил новую лепту в его жизненный standard. С каждым днем росло чувство надежности и собственной независимости. То, что прежде считалось удачей и рождало смиренную признательность судьбе, стало правом, которое не благословляют, а требуют.

С 1900 года начинает и рабочий ширить и упрочивать свою жизнь. Он, однако, должен за это бороться. Благоденствие не уготовано ему заботливо, как среднему человеку, на диво слаженным обществом и Государством.

Этой материальной доступности и обеспеченности сопутствует житейская – comfort и общественный порядок. Жизнь катится по надежным рельсам, и столкновение с чем-то враждебным и грозным мало представимо.

Столь ясная и распахнутая перспектива неминуемо должна в недрах обыденного сознания копить то ощущение жизни, что метко выражено нашей старинной поговоркой – «широка Кастилия!»[4] А именно, во всех ее основных и решающих моментах жизнь представляется новому человеку лишенной преград. Это обстоятельство и его важность осознаются сами собой, если вспомнить, что прежде рядовой человек и не подозревал о такой жизненной раскрепощенности. Напротив, жизнь была для него тяжелой участью – и материально,

² Герман Вейль, один из крупнейших физиков современности, соратник и преемник Эйнштейна, не раз повторял в частной беседе, что, если бы определенные люди, десять или двенадцать человек, внезапно умерли, чудо современной физики оказалось бы навеки утраченным для человечества. Столетиями надо было приспособлять человеческий мозг к абстрактным головоломкам теоретической физики. И любая случайность может развеять эти чудесные способности, от которых зависит и вся техника будущего.

и житейски. Он с рождения ощущал ее как скопище преград, которые обречен терпеть, с которыми принужден смириться и втиснуться в отведенную ему щель.

Контраст будет еще отчетливее, если от материального перейти к аспекту гражданскому и моральному. С середины прошлого века средний человек не видит перед собой никаких социальных барьеров. С рождения он и в общественной жизни не встречает рогаток и ограничений. Никто не принуждает его сужать свою жизнь. И здесь «широка Кастилия». Не существует ни сословий, ни каст. Ни у кого нет гражданских привилегий. Средний человек усваивает как истину, что все люди узаконенно равны. Никогда за всю историю человек не знал условий, даже отдаленно похожих на современные. Речь действительно идет о чем-то абсолютно новом, что внес в человеческую судьбу XIX век. Создано новое сценическое пространство для существования человека, новое и в материальном и в социальном плане. Три начала сделали возможным этот новый мир: либеральная демократия, экспериментальная наука и промышленность. Два последних фактора можно объединить в одно понятие – техника. В этой триаде ничто не рождено XIX веком, но унаследовано от двух предыдущих столетий. Деятнадцатый век не изобрел, а внедрил, и в том его заслуга. Это прописная истина. Но одной ее мало, и надо вникнуть в ее неумолимые следствия.

Деятнадцатый век был революционным по сути. И суть не в живописности его баррикад – это всего лишь декорация, – а в том, что он поместил огромную массу общества в жизненные условия, прямо противоположные всему, с чем средний человек свыкся ранее. Короче, век перелицевал общественную жизнь. Революция не покушение на порядок, но внедрение нового порядка, дискредитирующего привычный. И потому можно без особых преувеличений сказать, что человек, порожденный XIX столетием, социально стоит в ряду предшественников особняком. Разумеется, человеческий тип XVIII века отличен от преобладавшего в семнадцатом, а тот – от характерного для XVI века, но все они в конечном счете родственны, схожи и по сути даже одинаковы, если сопоставить их с нашим новоявленным современником. Для «плебея» всех времен «жизнь» означала прежде всего стеснение, повинность, зависимость – короче, угнетение. Еще короче – гнет, если не ограничивать его правовым и сословным, забывая о стихиях. Потому что их напор не слабел никогда, вплоть до прошлого века, с началом которого технический прогресс – материальный и управленческий – становится практически безграничным. Прежде даже для богатых и могущественных земля была миром нужды, тягот и риска³.

Тот мир, что окружает нового человека с колыбели, не только не понуждает его к самообузданию, не только не ставит перед ним никаких запретов и ограничений, но, напротив, непрестанно берedit его аппетиты, которые в принципе могут расти бесконечно. Ибо этот мир XIX и начала XX века не просто демонстрирует свои бесспорные достоинства и масштабы, но и внушает своим обитателям – и это крайне важно – полную уверенность, что завтра, словно упиваясь стихийным и неистовым ростом, мир станет еще богаче, еще шире и совершеннее. И по сей день, несмотря на признаки первых трещин в этой незыблемой вере, – по сей день, повторяю, мало кто сомневается, что автомобили через пять лет будут лучше и дешевле, чем сегодня. Это так же непреложно, как завтрашний восход солнца. Сравнение, кстати, точное. Действительно, видя мир так великолепно устроенным и слаженным, человек заурядный полагает его делом рук самой природы и не в силах додуматься, что дело это требует усилий людей незаурядных. Еще труднее ему уразуметь, что все эти легко достижимые блага держатся на определенных и нелегко достижимых человеческих качествах, малейший недобор которых незамедлительно развеет прахом великолепное сооружение.

Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок сегодняшнего массового человека: эти две черты – беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной природы и, второе, врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему жизнь. Обе черты рисуют весьма знакомый душевный склад – избалованного ребенка. И в общем можно уверенно прилагать их к массовой душе как оси координат. Наследница незапамятного и гениального былого, гениального по своему вдохновению и дерзанию, современная чернь избалована окружением. Баловать – это значит потакать, поддерживать иллюзию, что все дозволено и ничто не обязательно. Ребенок в такой обстановке лишается понятий о своих пределах. Избавленный от любого давления извне, от любых столкновений с другими, он и впрямь начинает верить, что существует только он, и привыкает ни с кем не считаться, а главное, никого не считать лучше себя. Ощущение чужого превосходства вырабатывается лишь благодаря кому-то более сильному, кто вынуждает сдерживать, умерять и подавлять желания. Так усваивается важнейший урок: «Здесь кончаюсь я и начинается другой, который может больше, чем я. В мире, очевидно, существуют двое: я и тот другой, кто выше меня». Среднему человеку прошлого мир ежедневно преподавал эту простую мудрость, поскольку был настолько неслаженным, что бедствия не кончались и ничто не становилось надежным, обильным и устойчивым. Но для новой массы все возможно и даже гарантировано – и все наготове, без каких-либо предварительных усилий, как солнце, которое не надо тащить в зенит на собственных плечах. Ведь никто никого не благодарит за воздух, которым дышит, потому что воздух никем не изготовлен – он часть того, о чем говорится «это естественно», поскольку это есть и не может не быть. А избалованные массы достаточно малокультурны, чтобы всю эту материальную и социальную слаженность, безвозмездную, как воздух, тоже считать естественной, поскольку она, похоже, всегда есть и почти так же совершенна, как и природа.

Мне думается, сама искусность, с какой XIX век обустроил определенные сферы жизни, побуждает облагодетельствованную массу считать их устройство не искусным, а естественным. Этим объясняется и определяется то абсурдное состояние духа, в котором пребывает масса: больше всего ее заботит собственное благопо-

³ При любом относительном богатстве сфера благ и удобств, обеспеченных им, была крайне сужена всеобщей бедностью мира. Жизнь среднего человека много легче, изобильнее и безопаснее жизни могущественнейшего властителя иных времен. Какая разница, кто кого богаче, если богат мир и не скупится на автострады, магистрали, телеграфы, отели, личную безопасность и аспирин?

лучие и меньше всего – истоки этого благополучия. Не видя в благах цивилизации ни изощренного замысла, ни искусного воплощения, для сохранности которого нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит иной обязанности, как убежденно домогаться этих благ, единственно по праву рождения. В дни голодных бунтов народные толпы обычно требуют хлеба, а в поддержку требований обычно громят пекарни. Чем не символ того, как современные массы поступают, только размахистей и изобретательней, с той цивилизацией, что их питает?⁴

VIII. ПОЧЕМУ МАССЫ ВТОРГАЮТСЯ ВСЮДУ, ВО ВСЕ И ВСЕГДА НЕ ИНАЧЕ КАК НАСИЛИЕМ

Начну с того, что выглядит крайне парадоксальным, а в действительности проще простого: когда для заурядного человека мир и жизнь распахнулись настезь, душа его для них закрылась наглухо. И я утверждаю, что эта закупорка заурядных душ и породила то возмущение масс, которое становится для человечества серьезной проблемой.

Естественно, что многие думают иначе. Это в порядке вещей и только подтверждает мою мысль. Будь даже мой взгляд на этот сложный предмет целиком неверным, верно то, что многие из оппонентов не размышляли над ним и пяти минут. Могут ли они думать как я? Но непреложное право на собственный взгляд без каких-либо предварительных усилий его выработать как раз и свидетельствует о том абсурдном состоянии человека, которое я называю «массовым возмущением». Это и есть герметизм, закупорка души. В данном случае – герметизм сознания. Человек обзавелся кругом понятий. Он полагает их достаточными и считает себя духовно завершенным. И, ни в чем извне нужды не чувствуя, окончательно замыкается в этом кругу. Таков механизм закупорки.

Массовый человек ощущает себя совершенным. Человеку незаурядному для этого требуется незаурядное самомнение, и наивная вера в собственное совершенство у него не органична, а внушена тщеславием и остается мнимой, притворной и сомнительной для самого себя. Поэтому самонадеянному так нужны другие, кто подтвердил бы его домыслы о себе. И даже в этом клиническом случае, даже ослепленный тщеславием, достойный человек не в силах ощутить себя завершенным. Напротив, сегодняшней заурядности, этому новому Адаму, и в голову не взбредет усомниться в собственной избыточности. Самосознание у него поистине райское. Природный душевный герметизм лишает его главного условия, необходимого, чтобы ощутить свою неполноту, – возможности сопоставить себя с другим. Сопоставить означало бы на миг отрешиться от себя и вселиваться в ближнего. Но заурядная душа не способна к перевоплощению – для нее, увы, это высший пилотаж.

Словом, та же разница, что между тупым и смышленным. Один замечает, что он на краю неминуемой глупости, силится отпрянуть, избежать ее и своим усилием укрепляет разум. Другой ничего не замечает: для себя он – само благоразумие, и отсюда та завидная безмятежность, с какой он погружается в собственный идиотизм. Подобно тем моллюскам, которых не удается извлечь из раковины, глупого невозможно выманить из его глупости, вытолкнуть наружу, заставить на миг оглядеться по ту сторону своих катаракт и сличить свою привычную подслеповатость с остротой зрения других. Он глуп пожизненно и прочно. Недаром Анатолий Франс говорил, что дурак пагубней злодея. Поскольку злодей иногда передыхает⁵.

Речь не о том, что массовый человек глуп. Напротив, сегодня его умственные способности и возможности шире, чем когда-либо. Но это не идет ему впрок: на деле смутное ощущение своих возможностей лишь побуждает его закупориться и не пользоваться ими. Раз навсегда освящает он ту мешанину прописных истин, несвязных мыслей и просто словесного мусора, что скопилась в нем по воле случая, и навязывает ее везде и всюду, действуя по простоте душевной, а потому без страха и упрека. Именно об этом и говорил я в первой главе: специфика нашего времени не в том, что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право. Тирания интеллектуальной пошлости в общественной жизни, быть может, самобытнейшая черта современности, наименее сопоставимая с прошлым. Прежде в европейской истории чернь никогда не заблуждалась насчет собственных «идей» касательно чего бы то ни было. Она наследовала верования, обычаи, житейский опыт, умственные навыки, пословицы и поговорки, но не присваивала себе умозрительных суждений, например о политике или искусстве, и не определяла, что они такое и чем должны стать. Она одобряла или осуждала то, что задумывал и осуществлял политик, поддерживала или лишала его поддержки, но действия ее сводились к отклику, сочувственному или наоборот, на творческую волю другого. Никогда ей не взбрело в голову ни противопоставлять «идеям» политика свои, ни даже судить их, опираясь на некий свод «идей», признанных своими. Так же об-

⁴ Для брошенной на собственный произвол массы, будь то чернь или знать, жажда жизни неизменно оборачивается разрушением самих основ жизни. Бесподобным гротеском этой тяги – *propter vitam, vitae perdere causas* [5] – мне кажется происшедшее в Нихаре, городке близ Альмерии, 13 сентября 1759 года, когда был провозглашен королем Карлос III. Торжество началось на площади. «Затем велено было угостить все собрание, каковое истребило 77 бочонков вина и четыре бурдюка водки и воодушевилось настолько, что со многими здравичами двинулось к муниципальному складу и там повыбрасывало из окон весь хлебный запас и 900 реалов общинных денег. Потом перешли к табачной торговле и принудили выкинуть месячную выручку и табак тоже. В лавках учинили то же самое, уничтожив во славу праздника все, что было там съестного и питьевого. Духовенство не уступало рвением и громко призывало женщин выбрасывать на улицу все что ни есть, и те трудились без малейшего сожаления, пока в домах не осталось ни хлеба ни зерна, ни муки ни крупы, ни мисок ни кастрюль, ни ступок ни пестов и весь сказанный город не опустел». (Документ из собрания доктора Санчеса де Тока, приведенный в книге Мануэля Данвила «Правление Карлоса III», т. 2, с. 10, примеч. 2.) Названный город в угоду монархическому ажиотажу истребил себя. Блажен Нихар, ибо за ним будущее!

⁵ Я не раз задавался таким вопросом. Испокон веков для многих людей самым мучительным в жизни было, несомненно, столкновение с глупостью ближних. Почему же в таком случае никогда не пытались изучать ее – не было, насколько мне известно, ни одного исследования? Нет его и на страницах Эразма.

стояло с искусством и другими областями общественной жизни. Врожденное сознание своей узости, неподготовленности к теоретизированию⁶ воздвигало глухую стену. Отсюда само собой следовало, что плебей не решался даже отдаленно участвовать почти ни в какой общественной жизни, по большей части всегда концептуальной.

Сегодня, напротив, у среднего человека самые неукоснительные представления обо всем, что творится и должно твориться во вселенной. Поэтому он разучился слушать. Зачем, если все ответы он находит в самом себе? Нет никакого смысла выслушивать, и, напротив, куда естественнее судить, решать, изрекать приговор. Не осталось такой общественной проблемы, куда бы он не вступал, повсюду оставаясь глухим и слепым и всюду навязывая свои «взгляды».

Но разве это не достижение? Разве не величайший прогресс то, что массы обзавелись идеями, то есть культурой? Никоим образом. Потому что идеи массового человека таковыми не являются и культурой он не обзавелся. Идея – это шах истине. Кто жаждет идей, должен прежде их домогаться истины и принимать те правила игры, которых она требует. Бессмысленно говорить об идеях и взглядах, не признавая системы, в которой они выверяются, свода правил, к которым можно апеллировать в споре. Эти правила – основы культуры. Не важно, какие именно. Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если нет основ законности, к которым можно прибегнуть. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике⁷. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические споры не ставят целью оправдать искусство.

Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть в самом прямом и точном смысле слова варварство. Именно его, не будем обманываться, и утверждает в Европе растущее вторжение масс. Путник, попадая в варварский край, знает, что не найдет там законов, к которым мог бы воззвать. Не существует собственно варварских порядков. У варваров их попросту нет и взывать не к чему.

Мерой культуры служит четкость установлений. При малой разработанности они упорядочивают лишь *grosso modo* [6], и чем отделаннее они, тем подробнее выверяют любой вид деятельности⁸. Всеми признано, что в Европе с некоторых пор творятся диковинные вещи. В качестве примера назову две – синдикализм [7] и фашизм. И диковинность их отнюдь не в новизне. Страсть к обновлению в европейцах настолько неистребима, что сделала их историю самой беспокойной в мире. Следовательно, удивляет в упомянутых политических течениях не то, что в них нового, а знак качества этой новизны, доселе невиданный. Под маркой синдикализма и фашизма впервые возникает в Европе тип человека, который не желает ни признавать, ни доказывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Вот что вновь – право не быть правым, право произвола. Я считаю это самым наглядным проявлением новой жизнедеятельности масс, исполненных решимости управлять обществом при полной к тому неспособности. Политическая позиция предельно грубо и неприкрыто выявляет новый душевный склад, но коренится она в интеллектуальном герметизме. Массовый человек обнаруживает в себе ряд «представлений», но лишен самой способности «представлять». И даже не подозревает, каков он, тот хрупкий мир, в котором живут идеи. Он хочет высказаться, но отвергает условия и предпосылки любого высказывания. И в итоге его «идеи» – не что иное, как словесные аппетиты, наподобие жестоких романсов.

Выдвигать идею означает верить, что она разумна и справедлива, а тем самым верить в разум и справедливость, в мир умопостигаемых истин. Суждение и есть обращение к этой инстанции, признание ее, подчинение ее законам и приговорам, а значит, и убеждение, что лучшая форма сосуществования – диалог, где столкновение доводов выверяет правоту наших идей. Но массовый человек, втянутый в обсуждение, теряется, инстинктивно противится этой высшей инстанции и необходимости уважать то, что выходит за его пределы. Отсюда и последний европейский клич: «Хватит дискуссий!» – и ненависть к любому сосуществованию, по своей природе объективно упорядоченному, от разговора до парламента, не говоря о науке. Иными словами, отказ от сосуществования культурного, то есть упорядоченного, и откат к варварскому. Душевный герметизм, толкающий массу, как уже говорилось, вторгаться во все сферы общественной жизни, неизбежно оставляет ей единственный путь для вторжения – прямое действие.

Обращаясь к истокам нашего века, когда-нибудь отметят, что первые ноты его сквозной мелодии прозвучали на рубеже столетий среди тех французских синдикалистов и роялистов, что придумали термин «прямое действие» вкуче с его содержанием. Человек постоянно прибегал к насилию. Оставим в стороне просто преступления. Но ведь нередко к насилию прибегают, исчерпав все средства в надежде образумить, отстоять то, что кажется справедливым. Печально, конечно, что жизнь раз за разом вынуждает человека к такому насилию, но бесспорно также, что оно – дань разуму и справедливости. Ведь и само это насилие не что иное, как ожесточенный разум. И сила действительно лишь его последний довод. Есть обыкновение произносить *ultima ratio* [8] иронически – обыкновение довольно глупое, поскольку смысл этого выражения в заведомом подчинении силы разумным нормам. Цивилизация и есть опыт обуздания силы, сведение ее роли к *ultima ratio*. Слишком хорошо мы видим это теперь, когда «прямое действие» опрокидывает порядок вещей и утверждает силу как *prima*

⁶ Это не подмена понятий: выносить суждение означает теоретизировать.

⁷ Кто в споре не доискивается правды и не стремится быть правдивым, тот интеллектуально варвар. В сущности, так и обстоит с массовым человеком, когда он говорит, вещает или пишет.

⁸ Скудость испанской интеллектуальной культуры не в большей или меньшей нехватке знаний, а в той привычной бесшабашности, с которой говорят и пишут, не слишком заботливо сверяясь с истиной. Словом, беда не в большей или меньшей неистинности – истина не в нашей власти – а в большей или меньшей недобросовестности, которая мешает выполнять несложные и необходимые для истины условия. В нас неискореним тот деревенский попик, что победно громит манихеев, так и не позаботясь уяснить, о чем же они, собственно, толкуют.

ratio[9], а в действительности – как единственный довод. Это она становится законом, который намерен упразднить остальные и впрямую диктовать свою волю. Это Charta Magnus [10] одичания.

Нелишне вспомнить, что масса, когда бы и из каких бы побуждений ни вторгалась она в общественную жизнь, всегда прибегала к «прямому действию». Видимо, это ее природный способ действовать. И самое веское подтверждение моей мысли – тот очевидный факт, что теперь, когда диктат массы из эпизодического и случайного сделался повседневным, «прямое действие» стало узаконенным.

Все человеческие связи подчинились этому новому порядку, упразднившему «непрямые» формы существования. В человеческом общении упраздняется «воспитанность». Словесность как «прямое действие» обращается в ругань...

Грани, нормы, этикет, законы писанные и неписанные, право, справедливость! Откуда они, зачем такая усложненность? Все это сфокусировано в слове «цивилизация», корень которого – *civis*, гражданин, то есть горожанин, – указывает на происхождение смысла. И смысл этого всего – сделать возможным город, сообщество, сосуществование. Поэтому, если взглядеться в перечисленные мной средства цивилизации, суть окажется одна. Все они в итоге предполагают глубокое и сознательное желание каждого считаться с остальными. Цивилизация – это прежде всего воля к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. Одичание – процесс разобщения. И действительно, периоды варварства, все до единого, – это время распада, кишение крохотных сообществ, разъединенных и враждующих.

Высшая политическая воля к сосуществованию воплощена в демократии. Это первообраз «непрямого действия», доведший до предела стремление считаться с ближним. Либерализм – правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всемогущей она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм, и сегодня стоит об этом помнить, – предел великодушия: это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо прозвучавший на земле. Он возвестил о решимости мириться с врагом, и, мало того, врагом слабейшим. Трудно было ждать, что род человеческий решится на такой шаг, настолько красивый, настолько парадоксальный, настолько тонкий, настолько акробатический, настолько неестественный. И потому нечего удивляться, что вскоре упомянутый род ощутил противоположную решимость. Дело оказалось слишком непростым и нелегким, чтобы утвердиться на земле.

Ужиться с врагом! Управлять с оппозицией! Не кажется ли уже непонятной подобная покладистость? Ничто не отразило современность так беспощадно, как то, что все меньше стран, где есть оппозиция. Повсюду аморфная масса давит на государственную власть и подминает, топчет малейшие оппозиционные ростки. Масса – кто бы подумал при виде ее однородной скученности! – не желает ужиться ни с кем, кроме себя. Все, что не масса, она ненавидит смертно.

Х. ОДИЧАНИЕ И ИСТОРИЯ

Природа всегда налицо. Она сама себе опора. В диком лесу можно безбоязненно дикарствовать. Можно и навек одичать, если душе угодно и если не помешают иные пришельцы, не столь дикие. В принципе целые народы могут вечно оставаться первобытными. И остаются. Брейсиг назвал их «народами бесконечного рассвета», потому что они навсегда застряли в неподвижных, мерзлых сумерках, которых не растопить никакому полдню.

Все это возможно в мире полностью природном. Но не в полностью цивилизованном, подобно нашему. Цивилизация не данность и не держится сама собой. Она искусственна и требует искусства и мастерства. Если вам по вкусу ее блага, но лень заботиться о ней, – плохи ваши дела. Не успеете моргнуть, как окажетесь без цивилизации. Малейший недосмотр – и все вокруг улечится в два счета. Словно спадут покровы с нагой Природы и вновь, как изначально, предстанут первобытные дебри. Дебри всегда первобытны, и наоборот. Все первобытное – это дебри.

Романтики были поголовно помешаны на сценах насилия... Но еще более утонченным садизмом их привлекали руины, где окультуренные, граненые камни меркли в объятиях дикой зелени. Завидя строение, истый романтик прежде всего искал глазами желтый мох на кровле. Блеклые пятна возвещали, что все только прах, из которого поднимутся дебри.

Грешно смеяться над романтиком. По-своему он прав. За невинной извращенностью этих образов таится животрепещущая проблема, великая и вековая, – взаимодействие разумного и стихийного, культуры и неуязвимой для нее природы. Оставляю за собой право при случае заняться этим и обернуться на сей раз романтиком.

Но сейчас я занимаюсь обратной проблемой – как остановить натиск леса. Сейчас «истинному европейцу» предстоит решать задачу, над которой бьются австралийские штаты, – как помешать диким кактусам захватить землю и сбросить людей в море. В сорок каком-то году некий эмигрант, тоскующий по родной Малаге либо Сицилии, привез в Австралию крохотный росточек кактуса. Сегодня австралийский бюджет истощает затяжная война с этим сувениром, который заполонил весь континент и наступает со скоростью километра в год.

Массовая вера в то, что цивилизация так же стихийна и первозданна, как сама природа, уподобляет человека дикарю. Он видит в ней свое лесное логово. Об этом уже говорилось, но следует дополнить сказанное.

Основы, на которых держится цивилизованный мир и без которых он рухнет, для массового человека попросту не существуют. Эти краеугольные камни его не занимают, не заботят, и крепить их он не намерен. Почему так сложилось? Причин немало, но остановлюсь на одной.

С развитием цивилизация становится все сложнее и запутаннее. Проблемы, которые она сегодня ставит, архитрудны. И все меньше людей, чей разум на высоте этих проблем. Наглядное свидетельство тому – послевоенный период. Восстановление Европы – область высшей математики и рядовому европейцу явно не по силам. И не потому, что не хватает средств. Не хватает голов. Или, точнее, голова, хоть и с трудом, нашлась бы, и не одна, но иметь ее на плечах дряблое тело срединной Европы не хочет.

Разрыв между уровнем современных проблем и уровнем мышления будет расти, если не отыщется выход, и в этом главная трагедия цивилизации. Благодаря верности и плодотворности своих основ она плодоносит с быстротой и легкостью, уже недоступной человеческому восприятию. Не думаю, что когда-либо происходило подобное. Все цивилизации погибали от несовершенства своих основ. Европейской грозит обратное. В Риме и Греции потерпели крах устои, но не сам человек. Римскую империю доконала техническая слабость. Когда население ее разрослось и спешно пришлось решать неотложные хозяйственные задачи, решить которые могла лишь техника, античный мир двинулся вспять, стал вырождаться и зачах.

На сегодня крах терпит сам человек, уже неспособный поспевать за своей цивилизацией. Оторопь берет, когда люди вполне культурные – и даже весьма – трактуют злободневную тему. Словно заскоруждые крестьянские пальцы вылавливают со стола иголку. К политическим и социальным вопросам они приступают с таким набором допотопных понятий, какой годился в дело двести лет назад для смягчения трудностей в двести раз легче.

Растущая цивилизация – не что иное, как жгучая проблема. Чем больше достижений, тем в большей они опасности. Чем лучше жизнь, тем она сложнее. Разумеется, с усложнением самих проблем усложняются и средства для их разрешения. Но каждое новое поколение должно овладеть ими во всей полноте. И среди них, переходя к делу, выделю самое азбучное: чем цивилизация старше, тем больше прошлого за ее спиной и тем она опытнее. Словом, речь идет об истории. Историческое знание – первейшее средство сохранения и продления стареющей цивилизации, и не потому, что дает рецепты ввиду новых жизненных осложнений, – жизнь не повторяется, – но потому, что не дает перепевать наивные ошибки прошлого. Однако, если вы помимо того, что состарились и впали в тяготы, ко всему еще утратили память, ваш опыт, да и все на свете вам уже не впрок. Я думаю, что именно это и случилось с Европой. Сейчас самые «культурные» слои поражают историческим невежеством. Ручаюсь, что сегодня ведущие люди Европы смыслят в истории куда меньше, чем европеец XVIII и даже XVII века. Историческое знание тогдашней верхушки – властителей *sensu lato* [11] – открыло дорогу сказочным достижениям XIX века. Их политика – речь о XVIII веке – вершилась во избежание всех политических ошибок прошлого, строилась с учетом этих ошибок и обобщала самый долгий опыт из возможных. Но уже XIX век начал утрачивать «историческую культуру», хотя специалисты при этом и продвинули далеко вперед историческую науку⁹. Этому небрежению он обязан своими характерными ошибками, которые сказались и на нас. В последней его трети обозначился – пока еще скрытно и подпочвенно – отход назад, откат к варварству, другими словами, к той скудоумной простоте, которая не знала прошлого или забыла его.

Оттого-то и большевизм и фашизм, две политические «новинки», возникшие в Европе и по соседству с ней, отчетливо представляют собой движение вспять. И не столько по смыслу своих учений – в любой доктрине есть доля истины, да и в чем только нет хотя бы малой ее крупинки, – сколько по тому, как допотопно, антиисторически используют они свою долю истины. Типично массовые движения, возглавленные, как и следовало ждать, недалекими людьми старого образца, с короткой памятью и нехваткой исторического чутья, они с самого начала выглядят так, словно уже канули в прошлое, и, едва возникнув, кажутся реликтовыми.

Я не обсуждаю вопроса, становиться или не становиться коммунистом. И не оспариваю символ веры. Непостижимо и анахронично то, что коммунист 1917 года решается на революцию, которая внешне повторяет все прежние, не исправив ни единой ошибки, ни единого их изъяна. Поэтому происшедшее в России исторически невыразительно и не знаменует собой начало новой жизни. Напротив, это монотонный перепев общих мест любой революции. Общих настолько, что нет ни единого изречения, рожденного опытом революций, которое применительно к русской не подтвердилось бы самым печальным образом. «Революция пожирает собственных детей»; «Революция начинается умеренными, совершается непримиримыми, завершается реставрацией» и т. д. и т. п. К этим затасканным истинам можно бы добавить еще несколько не столь явных, но вполне доказуемых, например такую: революция длится не дольше пятнадцати лет – активной жизни одного поколения¹⁰.

Кто действительно хочет создать новую социально-политическую явь, тот прежде всего должен позаботиться, чтобы в обновленном мире утратили силу жалкие стереотипы исторического опыта. Лично я прибегаю бы к титулу «гениального» для такого политика, с первых же шагов которого спятили все профессора истории, видя, как их научные «законы» разом стареют, рушатся и рассыпаются прахом.

Почти все это, лишь поменяв плюс на минус, можно адресовать и фашизму. Обе попытки – не на высоте своего времени, потому что превзойти прошлое можно только при одном неумолимом условии: надо его целиком, как пространство в перспективу, вместить в себя. С прошлым не сходятся врукопашную. Новое побеждает, лишь поглотив его. А подавившись, гибнет.

⁹ В этом уже проступает та разница между научным уровнем эпохи и ее культурным уровнем, с которой мы еще столкнемся вплотную.

¹⁰ Срок деятельности одного поколения – около тридцати лет. Но срок этот делится на два разных и приблизительно равных периода: в течение первого новое поколение распространяет свои идеи, склонности и вкусы, которые в конце концов утверждаются прочно и в течение всего второго периода господствуют. Тем временем поколение, выросшее под их господством, уже несет свои идеи, склонности и вкусы, постепенно пропитывая ими общественную атмосферу. И если господствуют крайние взгляды и предыдущее поколение по своему складу революционно, то новое будет тяготеть к обратному, то есть к реставрации. Разумеется, реставрация не означает простого «возврата к старому» и никогда им не бывает.

Обе попытки – это ложные зори, у которых не будет завтрашнего утра, а лишь давно прожитый день, уже виденный однажды, и не только однажды. Это анахронизмы. И так обстоит со всеми, кто в простоте душевной точит зубы на ту или иную порцию прошлого, вместо того чтобы приступить к ее перевариванию.

Безусловно, надо преодолеть либерализм XIX века. Но такое не по зубам тому, кто, подобно фашистам, объявляет себя антилибералом. Ведь быть нелибералом либо антилибералом – значит занимать ту позицию, что была до наступления либерализма. И раз он наступил, то, победив однажды, будет побеждать и впредь, а если погибнет, то лишь вкупе с антилиберализмом и со всей Европой. Хронология жизни неумолима. Либерализм в ее таблице наследует антилиберализм, или, другими словами, настолько жизненное последнее, насколько пушка гибельнее копыя.

На первый взгляд кажется, что каждому «античеловеку-то» должно предшествовать это самое «что-то», поскольку отрицание предполагает его уже существующим. Однако новоявленное «анти» растворяется в пустом жесте отрицания и оставляет по себе нечто «антикварное». Если кто-то, например, заявляет, что он антитеатрал, то в утвердительной форме это всего лишь означает, что он сторонник такой жизни, в которой театра не существует. Но такой она была лишь до рождения театра. Наш антитеатрал, вместо того чтобы возвыситься над театром, ставит себя хронологически ниже, не после, а до него, и смотрит с начала раскрученную назад киноленту, в конце которой неизбежно появится театр. Со всеми этими «анти» та же история, что приключилась, согласно легенде, с Конфуцием. Он родился, как водится, позже своего отца, но родился-то... уже восьмидесятилетним, когда родителю было не больше тридцати. Всякое «анти» лишь пустое и пресное «нет». Было бы недурно, если б безоговорочное «нет» могло покончить с прошлым. Но прошлое по своей природе *revenant* [12]. Как ни гони его, оно вернется и неминуемо возникнет. Поэтому единственный способ избавиться от него – это не гнать. Прислушиваться к нему. Не выпускать его из виду, чтоб перехитрить и ускользнуть от него. Жить «на высоте своего времени», обостренно чувствуя историческую обстановку. У прошлого своя правда. Если с ней не считаться, оно вернется отстаивать ее и заодно утвердит свою неправду. У либерализма правда была, и надо признать это *per saecula saeculorum* [13]. Но была и не только правда, и надо избавить либерализм от всего, в чем он оказался не прав. Европа должна сохранить его суть. Иначе его не преодолеть.

О фашизме и большевизме я заговорил походя и бегло, отметив лишь их архаические черты. Такие черты, на мой взгляд, сегодня присущи всему, что кажется победоносным. Ибо сегодня торжествует массовый человек и лишь то, что внушено им и пропитано его плоским мышлением, может одержать видимость победы. Ограничиваясь этим, не стану вдаваться в суть упомянутых течений, равно как и пытаться решить вечную дилемму эволюции и революции. Единственное, чего я хочу, – чтобы та и другая были историчны, а не выглядели анахронизмом.

Проблема, над которой я бьюсь, политически нейтральна, потому что коренится глубже, чем политика с ее распрями. Консерваторы в такой же мере массовые люди, как радикалы, и разница между ними, которая и всегда-то была поверхностной, нимало не мешает им быть одним и тем же – восставшей чернью.

Европе не на что надеяться, если судьба ее не перейдет в руки людей, мыслящих «на высоте своего времени», людей, которые слышат подземный гул истории, видят реальную жизнь в ее полный рост и отвергают саму возможность архаизма и одичания. Нам понадобится весь опыт истории, чтобы не кануть в прошлое, а выбраться из него.

XI. ВЕК САМОДОВОЛЬНЫХ НЕДОРОСЛЕЙ

Итак, новая социальная реальность такова: европейская история впервые оказалась отданной на откуп заурядности. Или в действительном залегах: заурядность, прежде подвластная, решила властвовать. Решение выйти на авансцену возникло само собой, как только созрел новый человеческий тип – воплощенная посредственность. В социальном плане психологический строй этого новичка определяется следующим: во-первых, подспудным и врожденным ощущением легкости и обильности жизни, лишенной тяжелых ограничений, и, во-вторых, вследствие этого – чувством собственного превосходства и всемогущества, что, естественно, побуждает принимать себя таким, какой есть, и считать свой умственный и нравственный уровень более чем достаточным. Эта самодостаточность повелевает не поддаваться внешнему влиянию, не подвергать сомнению свои взгляды и не считаться ни с кем. Привычка ощущать превосходство постоянно берedit желание господствовать. И массовый человек держится так, словно в мире существует только он и ему подобные, а отсюда и его третья черта – вмешиваться во все, навязывая свою убогость бесцеремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно, то есть в духе «прямого действия».

Эта совокупность заставляет вспомнить такие ущербные человеческие особи, как избалованный ребенок и взбесившийся дикарь, то есть варвар. (Нормальный дикарь, напротив, как никто другой, следует высшим установлениям – вере, табу, заветам и обычаям.) Не надо удивляться моей желчности. Это первая попытка атаковать триумфатора и знак, что есть еще европейцы, готовые восстать против его тирании. Пока это лишь разведка, главный бой впереди – он не заставит себя ждать и наверняка будет иным, чем мне представляется. Но атака окажется такой, что массовый человек не сумеет опередить ее – он будет ждать ее и даже не подозревать, что решающий удар уже нанесен.

Существо, которое в наши дни проникло всюду и всюду выказало свою варварскую суть, и в самом деле баловень человеческой истории. Баловень – это наследник, который держится исключительно как наследник. Наше наследство – цивилизация, с ее удобствами, гарантиями и прочими благами. Как мы убедились, только жизнь на широкую ногу и способна породить подобное существо со всем его вышеописанным содержимым. Это еще один живой пример того, как богатство калечит человеческую природу. Мы ошибочно полагаем, что жизнь в изобилии полнее, выше и подлиннее, чем жизнь в упорной борьбе с нуждой. А это не так, и тому есть

причины, непреложные и архисерьезные, которые здесь не место излагать. Не вдаваясь в них, достаточно вспомнить давнюю и заигранную трагедию наследственной аристократии. Аристократ наследует, то есть присваивает, жизненные условия, которые создавал не он и существование которых не связано органически с его, и только его, жизнью. С появлением на свет он моментально и безотчетно водворяется в сердцевину своих богатств и привилегий. Внутренне его ничто с ними не роднит, поскольку они исходят не от него. Это огромный панцирный покров, пустая оболочка иной жизни, иного существа – родоначальника. А сам он лишь наследник, то есть носит оболочку чужой жизни. Что же его ждет? Какой жизнью суждено ему жить – своей или своего пращура? Да никакой. Он обречен представлять собой другого, то есть не быть ни собой, ни другим. Жизнь его неумолимо теряет достоверность и становится видимостью, игрой в жизнь, и притом чужую. Изобилие, которым он вынужден владеть, отнимает у наследника его собственное предназначение, омертвляет его жизнь. Жизнь – борьба и вечное усилие стать собой. Именно те трудности, что мешают мне осуществиться, будят и напрягают мои силы и способности. Если бы мое тело не весило, я бы не мог ходить. Если бы воздух не давил на него, оно лопнуло бы, как мыльный пузырь. Так, от отсутствия жизненных условий, улетучивается и личность наследственного «аристократа». Отсюда и то редкостное размягчение мозгов у родовитого потомства и никем еще не изученный роковой удел наследственной знати – ее внутренний и трагический механизм вырождения.

Если бы лишь на этом и спотыкалась наша наивная вера, что изобилие способствует жизни! Но куда там. Избыточные блага¹¹ сами собой уродуют жизнедеятельность и производят на свет такие ущербные натуры, как «баловень», или «наследник» (аристократ лишь его частный случай), или, наконец, самый вездесущий и законченный тип – современного массового человека. (Стоило бы, кстати, подробнее проследить, как многие характернейшие черты «аристократа» всех времен и народов, подобно семенам, дают массовые всходы. Стремление, например, делать игру и спорт своим главным занятием; всеми средствами, от гигиены до гардероба, культивировать собственное тело; не допускать романтизма в отношениях с женщинами; делить досуг с интеллигентами, в душе презирая их и с радостью отдавая на растерзание лакеям и жандармам; предпочитать абсолютную власть демократическим прениям и т. д. и т. п.¹²)

И снова я с тяжелым сердцем вынужден повторить: этот новоявленный варвар, с хамскими повадками – законный плод нашей цивилизации, и в особенности тех ее форм, которые возникли в XIX веке. Он не вторгся в цивилизованный мир извне, как «рослые рыжие варвары» V века, и не проник в него изнутри, путем таинственного самозарождения, вроде того, что Аристотель приписывал головастикам. Он – естественное порождение упомянутого мира. Можно сформулировать закон, подтвержденный палеонтологией и биогеографией: человеческая жизнь расцветала лишь тогда, когда ее растущие возможности уравнивались теми трудностями, что она испытывала. Это справедливо и для духовного и для физического существования. Касательно последнего напомним, что человек развивался в тех областях земли, где жаркое время года уравнивалось нестерпимо холодным. В тропиках первобытная жизнь вырождается, и, наоборот, низшие ее формы, как, например, пигмеи, вытеснены туда племенами, возникшими позже и на более высокой эволюционной ступени.

Словом, именно в XIX веке цивилизация позволила среднему человеку утвердиться в избыточном мире, воспринятом как изобилие благ, но не забот. Он очутился среди сказочных машин, чудодейственных лекарств, услужливых правительств, уютных гражданских прав. А вот задуматься над тем, как непросто создавать эти машины и лекарства и обеспечивать их появление впредь и как шатко само устройство общества и государства, он не успел и, не заботясь о трудностях, почти не ощущает обязанностей. Такой сдвиг равновесия калечит его и, подрезав жизненные корни, уже не дает ему ощутить саму Сущность жизни, вечно темную и насквозь опасную. Ничто так не противоречит человеческой жизни, как ее же собственная разновидность, воплощенная в «самодовольном недоросле». И когда этот тип начинает преобладать, надо бить тревогу и кричать, что человечество грозит вырождение, едва ли не равносильное смерти. Пусть уровень жизни в Европе сегодня выше, чем когда бы то ни было, – нельзя, глядя в будущее, не опасаться, что завтра он не только не возрастет, но безудержно покатится вниз.

Все это, надеюсь, достаточно ясно указывает на крайнюю противоестественность «самодовольного недоросля». Это тип человека, который живет, дабы делать то, что хочется. Обычное заблуждение маменькина сынка. А причина проста: в семейном кругу любые, даже тяжкие проступки остаются, в общем-то, безнаказанными. Семейный очаг – это тепло искусственное, и здесь легко сходит с рук то, что на вольном воздухе улицы имело бы весьма пагубные последствия, и в самом скором времени. Но сам-то недоросль уверен, что может

¹¹ Не надо путать рост жизненных благ и даже изобилие с их избытком. Подобный рост в XIX веке привел к небывалому, количественно и качественно, росту жизни, о чем я уже упоминал. Но настал час, когда неограниченные возможности цивилизации в контрасте с ограниченностью среднего человека обрели оттенок избытка, чрезмерного, то есть излишнего, обилия. Всего лишь один пример: уверенность, которую, казалось бы, сулил прогресс – непрерывный рост уровня жизни, – развратила среднего человека и обернулась самоуверенностью, другими словами, – ущербным и разрушительным самообманом.

¹² В этом, и не только в этом отношении английская аристократия кажется исключением. Само по себе удивительно; однако достаточно беглого взгляда на британскую историю, чтобы увидеть, как этим исключением, при всей его исключительности, подтверждается правило. Вопреки ходячему мнению, английская знать была наименее «благополучной» в Европе и свыклась с опасностью и риском, как никакая другая. Потому-то она, живя в постоянной опасности, научилась и научила уважать себя, что требует безудержной боевой готовности. Как-то забывается, что Англия, даже в XVIII веке, была беднейшей страной Европы. Это и спасло британскую знать. Нужда заставила ее смириться с таким, в остальной Европе неблагоприятным, занятием, как торговля и промышленность, – то есть жить созидательно, а не уповать на привилегии.

повсюду вести себя как дома, что вообще нет ничего неизбежного, непоправимого и окончательного. И потому уверен, что может делать все, что хочет¹³.

Роковая ошибка! «Ваша милость пойдет куда следует», – говорят попугаю в португальской сказке. Но разве нельзя делать то, что хочется? Речь не о том, что нельзя, речь совсем о другом: все, что мы можем, – это делать то, чего не можем не делать, становиться тем, чем не можем не стать. Единственно возможное для нас своеволие – отказаться это делать, но отказ не означает свободу действий – мы и тогда не вольны делать то, что хочется. Это не своеволие, а свобода воли с отрицательным знаком – неволие. Можно изменить своему предназначению и дезертировать, но дезертировать можно, лишь загнав себя в подвалы своей судьбы. Я не могу убедить каждого ссылкой на его собственный опыт, потому что не знаю этого опыта, но вправе сослаться на то общее, что вошло в судьбу каждого. Например, на общее всем европейцам – и куда более прочное, чем их личные «идеи» и «взгляды», – сознание того, что современный европеец не может не ценить свободу. Можно спорить, какой именно должна быть эта свобода, но суть в ином. Сегодня самый махровый реакционер в глубине души сознает, что европейская идея, которую прошлый век окрестил либерализмом, в конечном счете и есть то непреложное и неизбежное, чем сегодня стал, вольно или невольно, западный человек.

И как бы неопровержимо ни доказывали, насколько ложной и губительной была любая попытка осуществить этот непростительный императив политической свободы, вписанный в европейскую историю, конечным остается понимание его подспудной правоты. Это конечное понимание есть и у коммуниста и у фашиста, судя по их усилиям убедить себя и нас в обратном, как есть оно – хочет он того или нет, верит он в это или нет¹⁴ – у католика, сколь бы преданно ни чтит он «Силлабус» [14]. Все они знают, что, какой бы справедливой ни была критика либерализма, его подспудная правота неодолима, потому что это не теоретическая правота, не научная, не умозрительная, но совсем иного и решающего свойства, а именно правота судьбы. Теоретические истины не просто спорны, но вся сила и смысл их в этой спорности; они рождены спором, живы, пока оспоримы, и существуют единственно для продолжения спора. Но судьбу – то, чему предстоит или не предстоит стать жизнью, – не оспаривают. Ее принимают или отвергают. Приняв, становятся собой; отвергнув, отрицают и подменяют себя¹⁵.

Судьба проступает не в том, что нам хочется, – напротив, ее строгие черты отчетливее, когда мы признаем, что должны вопреки хотению.

Итак, «самодовольный недоросль» знает, что должно быть, но, несмотря на это и даже именно поэтому, словом и делом изображает, будто убежден в обратном. Фашист обрушивается на политическую свободу именно потому, что знает: всецело и всерьез ее не может не быть, она неотменима как сущность европейской жизни и в серьезную минуту, когда нуждаться в ней будут по-настоящему, она окажется налицо. Но так уж настроен массовый человек – на капризный лад. Он ничего не делает раз навсегда, и, что бы ни делал, все у него «понарошку», как выходки маменькина сынка. Поспешная готовность его в любом деле вести себя трагически, отчаянно и безоглядно – это лишь декорация. Трагедию он разыгрывает именно потому, что не верит, будто в цивилизованном мире она может разыгаться всерьез.

Не принимать же на веру все, что человек изображает из себя! Если кто-то настаивает, что дважды два, по его святому убеждению, пять, и нет оснований считать его помешанным, остается признать, что сам он, как бы ни срывал голос и ни грозился умереть за свои слова, попросту не верит в то, что говорит.

Шквал повального и беспросветного фиглярства катится по европейской земле. Любая позиция утверждается из позерства и внутренне лжива. Все усилия направлены единственно на то, чтобы не встретиться со своей судьбой, отвернуться и не слышать ее темного зова, избежать очной ставки с тем, что должно стать жизнью. Живут в шутку и тем шуточнее, чем трагичнее надета маска. Шутовство неминуемо, если любой шаг необязателен и не вбирает в себя личность целиком и безворототно. Массовый человек боится встать на твердый, скальный грунт предназначения; куда свойственнее ему прозябать, существовать нереально, повисая в воздухе. И никогда еще не носилось по ветру столько жизней, невесомых и беспочвенных – выдернутых из своей судьбы – и так легко увлекаемых любым, самым жалким течением. Поистине эпоха «увлечений» и «течений». Мало кто противится тем поверхностным завихрениям, которые лихорадят искусство, мысль, политику, общество. И потому риторика цветет как никогда. Сюрреалист отважно кладет (избавлю себя от необходимости приводить это слово) там, где раньше стояли «жасмины, лебеди и фавны», и полагает, что превзошел мировую литературу. А всего-то заменил одну риторику другой, прежде пылившейся на заборах.

¹³ Как семья соотносится с обществом, точно так же, только крупнее и рельефнее, нация соотносится с человечеством. Самые самодовольные на сегодняшний день, да и самые монументальные «недоросли» – это народы, которые вознамерились в человеческом сообществе «делать то, что хочется». И по наивности называют это «национализмом». Как не претит мне интернациональный дух и ханжеское почтение к нему, но эти капризы национальной незрелости кажутся карикатурными.

¹⁴ Каждый, кто верит, согласно Копернику, что солнце не заходит за горизонт, изо дня в день видит обратное, и, поскольку очевидность мешаает убеждению, продолжает верить в него. В нем научная вера непрерывно подавляет влияние первичной или непосредственной веры. Так и упомянутый католик своей догматической верой отвергает свою подлинную, личную веру в насущность свободы. Я упомянул его в качестве примера и только для пояснения своей мысли, а не для того, чтобы подвергнуть такому же строгому суду, какому подвергаю современного массового человека, «самодовольного недоросля». Совпадают они лишь в одном. Вина «недоросля» в том, что он целиком не самобытен. У католика же бытие подлинно, но не целиком. Но даже «это частичное совпадение мнимо. Католик изменяет себе в той сфере бытия, где он сын своего времени и, хочет он того или не хочет, современный европеец; и изменяет потому, что стремится остаться верным другой властной сфере своего бытия – своей религиозной вере. Это означает, что судьба его, по существу, трагична. И он принимает ее такой. «Самодовольный недоросль», напротив, дезертирует, изменяя себе по безалаберности, а всему остальному – единственно из трусости и желания увильнуть при малейшем намеке на трагедию.

¹⁵ Оскудеть, опуститься, пасть – это и значит отказаться от себя, от того, в ком ты должен был осуществиться. Подлинное существование при этом не исчезает, а становится укоризненной тенью, призраком, который вечно напоминает, как низка эта участь и какой непохожей она должна была стать. Такая жизнь лишь неудачное самоубийство.

Понять современность, при всей ее неповторимости, помогает то, что роднит ее с прошлым. Едва средиземноморская цивилизация достигла своей полноты, как на сцену выходит циник. Грязными сандалиями Диоген топчет ковры Аристиппа. В III веке до Рождества Христова циники кишат – они на всех углах и на любых постах. И единственное, что делают, – саботируют цивилизацию. Циник был нигилистом эллинизма. Он никогда не создавал и даже не пытался. Его работой было разрушение, верней, старание разрушить, поскольку он и в этом не преуспел. Циник, паразит цивилизации, живет ее отрицанием именно потому, что уверен в ней. Чего стоил бы он и что, спрашивается, делал бы среди дикарей, где каждый безотчетно и всерьез действует так, как сам он действовал напоказ и нарочно, видя в том личную заслугу? Чего стоит фашист, если он не ополчается на свободу? И сюрреалист, если он не шельмует искусство?

Иначе и не могло бы вести себя это существо, рожденное в чересчур хорошо устроенном мире, где привыкло видеть одни блага, а не опасности. Его избаловало окружение, домашнее тепло цивилизации – и маминкина сына вовсе не тянет покидать родное гнездо своих причуд, слушаться старших и уж тем более – входить в неумолимое русло своей судьбы.

ХIII. ГОСУДАРСТВО КАК ВЫСШАЯ УГРОЗА

В хорошо организованном обществе масса не действует сама по себе. Такова ее роль. Она существует для того, чтобы ее вели, наставляли и представляли за нее, пока она не перестанет быть массой или по крайней мере не начнет к этому стремиться. Но сама по себе она осуществлять это не способна. Ей необходимо следовать чему-то высшему, исходящему от избранных меньшинств. Можно сколько угодно спорить, кем должны быть эти избранные, но то, что без них, кем бы они ни были, человечество утратит основу своего существования, сомнению не подлежит, хотя Европа вот уже столетие, подобно страусу, прячет голову под крыло в надежде не увидеть очевидного. Это не частный вывод из ряда наблюдений и догадок, а закон социальной «физики» [15], под стать законам Ньютона по своей непреложности. В день, когда снова воцарится подлинная философия¹⁶, единственное, что может спасти Европу, – вновь откроется, что человек, хочет он того или нет, самой природой своей предназначен к поискам высшего начала. Кто находит его сам, тот избранный; кто не находит, тот получает его из чужих рук и становится массой.

Действовать самовольно означает для массы восставать против собственного предназначения, а поскольку лишь этим она сейчас и занята, я говорю о восстании масс. В конце концов, единственное, что действительно и по праву можно считать восстанием, – это восстание против себя, неприятие судьбы. Люцифер был бы не меньшим мятежником, если бы метил не на место Бога, ему не уготованное, а на место низшего из ангелов, уготованное тоже не ему. (Будь Люцифер русским, как Толстой, он, наверно, избрал бы второй путь, не менее богоборческий.)

Действуя сама по себе, масса прибегает к единственному способу, поскольку других не знает, – к расправе. Не зря же суд Линча возник в Америке, в этом массовом раю. Нечего удивляться, что сегодня, когда массы торжествуют, торжествует и насилие, становясь единственным доводом и единственной доктриной. Я давно уж отмечал, что насилие стало бытом. Сейчас оно достигло апогея, и это обнадеживает, поскольку должен же начаться спад. Сегодня насилие – это риторика века, и его уже прибирают к рукам пустомели. Когда реальность отмирает, изжив себя, труп выносятся волнами и долго еще вязнет в болотах риторики. Это кладбище отжившего; на худой конец его богадельня. Имена переживают хозяев, и хотя это звук пустой, но все-таки звук, и он сохраняет какую-то магическую власть. Но если даже и вправду окажется, что значимость насилия как цинично установленной нормы поведения готова пойти на убыль, мы все равно останемся в его власти, лишь видоизменной.

Я перехожу к наихудшей из опасностей, которые грозят сегодня европейской цивилизации. Как и все прочие угрозы, она рождена самой цивилизацией и, больше того, составляет ее славу. Это наше современное Государство. Вспоминается то, что я уже отмечал, говоря о науке: плодотворность ее основ ведет к небывалому прогрессу, прогресс неумолимо ведет к небывало узкой специализации, а специализация – к удушению самой науки.

Нечто подобное происходит и с государством.

Вспомним, чем было в конце XVIII века государство для всех европейских наций. Почти ничем! Ранний капитализм и его промышленные предприятия, где впервые восторжествовала техника, самая передовая и производительная, резко ускорили рост общества. Возник новый социальный класс, энергичнее и многочисленнее прежних, – буржуазия. У этой напористой публики было одно всеобъемлющее дарование – практическая сметка. Они умели дать делу ход и слаженность, развернуть и упорядочить его. В их человеческом море и блуждал опасно «государственный корабль». Эту метафору извлекла на свет божий буржуазия, ибо действительно ощущала себя безбрежной, всемогущей и чреватой штормами стихией. Кораблик выглядел утлым, если не хуже, и всего было в обрез – и денег, и солдат, и чиновников. Его строили в средние века иные люди, во всем противоположные буржуазии, – доблестные, властные и преданные долгу дворяне. Это им обязаны существованием европейские нации. Но при всех душевных достоинствах у дворян было, да и продолжает быть, неладно с головой. Они на нее и не полагались. Безрассудные, нерасчетливые, «иррациональные», они живо чувствовали и трудно соображали. Поэтому они не смогли развить технику, требующую изобретательности. Они не вы-

¹⁶ Для этого вовсе не требуется, чтобы философы правили, как предлагал Платон [16], и не требуется даже, чтобы правители философствовали, как более скромно предлагалось после него. Оба варианта плачевны. Чтобы философия правила, достаточно одного – чтобы она существовала, иначе говоря, чтобы философы были философами. Едва ли уж не столетие они предаются политике, публицистике, просвещению, науке и чему угодно, кроме своего дела.

думали пороха. Поленились. И, не способные создать новое оружие, позволили горожанам освоить порох, завезенный с востока или бог весть откуда, и с его помощью разгромить благородных рыцарей, так бестолково заклепанных в железо, что в бою они еле ворочались, начисто неспособных уразуметь, что вечный секрет победы – секрет, воскрешенный Наполеоном, – не в средствах защиты, а в средствах нападения¹⁷.

Власть – это техника, механизм общественного устройства и управления, и потому «старый строй» к концу XVIII века зашатался под ударами беспокойного общественного моря. Государство было настолько слабее общества, что сравнительно с эпохой Каролингов абсолютизм кажется вырождением. Разумеется, власть Карла Великого бесконечно уступала власти Людовика XVI, но зато общество при Каролингах было бессильным¹⁸. Огромный перевес общественных сил над государственными привел к революции, вернее, к полосе революций, вплоть до 1848 года.

Но в ходе революции буржуазия отобрала власть и, приложив к ней свои умелые руки, на протяжении одного поколения создала по-настоящему сильное государство, которое с революциями покончило. С 1848 года, то есть с началом второй генерации буржуазных правлений, революции в Европе иссякли. И, конечно, не по недостатку причин, а по недостатку средств. Власть и общество сравнялись силой. Прощай навеки, революция! Впредь лишь антипод ее грозит европейцам – государственный переворот. Все, что в дальнейшем казалось революцией, было личиной государственного переворота.

В наши дни государство стало чудовищной машиной невысказанных возможностей, которая действует фантастически точно и оперативно. Это средоточие общества, и достаточно нажатия кнопки, чтобы гигантские рычаги молниеносно обработали каждую пядь социального тела.

Современное государство – самый явный и наглядный продукт цивилизации. И отношение к нему массового человека проливает свет на многое. Он гордится государством и знает, что именно оно гарантирует ему жизнь, но не сознает, что это творение человеческих рук, что оно создано определенными людьми и держится на определенных человеческих ценностях, которые сегодня есть, а завтра могут улечься. С другой стороны, массовый человек видит в государстве безликую силу, а поскольку и себя ощущает безликим, то считает его своим. И если в жизни страны возникнут какие-либо трудности, конфликты, проблемы, массовый человек постарается, чтобы власти немедленно вмешались и взяли заботу на себя, употребив на это все свои безотказные и неограниченные средства.

Здесь-то и подстерегает цивилизацию главная опасность – полностью огосударствленная жизнь, экспансия власти, поглощение государством всякой социальной самостоятельности – словом, удушение творческих начал истории, которыми в конечном счете держатся, питаются и движутся людские судьбы. Когда у массы возникнут затруднения или просто разыграются аппетиты, она не сможет не поддаться искушению добиться всего самым верным и привычным способом, без усилий, без сомнений, без борьбы и риска, одним нажатием кнопки пустив в ход чудодейственную машину. Масса говорит: «Государство – это я» – и жестоко ошибается. Государство идентично массе лишь в том смысле, в каком Икс идентичен Игреку, поскольку никто из них не Зет. Современное государство и массу роднит лишь их безликость и безымянность. Но массовый человек уверен, что он-то и есть государство, и не упустит случая под любым предлогом двинуть рычаги, чтобы раздавить какое бы то ни было творческое меньшинство, которое раздражает его всегда и всюду, будь то политика, наука или производство.

Кончится это плачевно. Государство удушит окончательно всякую социальную самостоятельность, и никакие новые семена уже не взойдут. Общество вынудят жить для государства, человека – для государственной машины. И поскольку это всего лишь машина, исправность и состояние которой зависят от живой силы окружения, в конце концов государство, высосав из общества все соки, выдохнется, зачахнет и умрет самой мертвенной из смертей – ржавой смертью механизма.

Такой и была судьба античной цивилизации. Бесспорно, созданная Юлиями и Клавдиями империя представляла собой великолепную машину, по конструкции намного совершеннее старого республиканского Рима. Но знаменательно, что, едва она достигла полного блеска, общественный организм угас. Уже при Антонинах (II век) государство придавило его своей безжизненной мощью. Общество поработается, и все силы его уходят на служение государству. А в итоге? Бюрократизация всей жизни ведет к ее полному упадку. Жизненный уровень быстро снижается, рождаемость и подавно. А государство, озабоченное только собственными нуждами, удваивает бюрократический нажим. Этой второй ступенью бюрократизации становится милитаризация общества. Все внимание обращено теперь на армию. Власть – это прежде всего гарант безопасности (той самой безопасности, с которой, напомним, и начинается массовое сознание). Поэтому государство – это прежде всего армия. Императоры Северы, родом африканцы, полностью военизируют жизнь. Напрасный труд! Нужда все

¹⁷ Эта схема великого исторического перелома, сменившего господство знати главенством буржуазии, принадлежит Ранке, но, разумеется, символическая картина переворота требует множества дополнений, чтобы походить на действительную. Порох известен с незапамятных времен. Заряд был придуман кем-то из ломбардцев, но оставался без применения, пока не догадались отлить пулю. Дворяне изредка употребляли огнестрельное оружие, но оно было слишком дорогим. Лишь горожане, экономически лучше организованные, сделали его массовым. Исторически, однако, известно с документальной точностью, что дворянское, средневекового образца бургундское войско было наголову разбито новым, не профессиональным, а состоящим из горожан швейцарским. Главной силой его была дисциплина и рациональная изобретательная тактика.

¹⁸ Стоило бы задержаться на этом и подчеркнуть, что эпоху европейского абсолютизма отличает именно слабость государства. Какая тому причина? Ведь общество уже набирало силу. Почему же Власть, будучи непререкаемой – «абсолютной», – не старалась и сама стать сильнее? Одна из причин уже упомянута: техническая и административная несостоятельность родовой знати. Но есть и другая – аристократы не хотели усиливать государство за счет общества. Вопреки привычным представлениям абсолютизм инстинктивно уважал общество, и уважал гораздо больше, чем наши нынешние демократии. Сегодня государство умнее, но исторически безответственнее.

беспросветнее, чресла все бесплоднее. Не хватает буквально всего, и даже солдат. После Северов в армию приходится вербовать варваров.

Теперь ясно, как парадоксален и трагичен путь огосударственного общества? Оно создает государство как инструмент, облегчающий жизнь. Потом государство берет верх, и общество вынуждено жить ради него¹⁹. Тем не менее состоит оно пока что из частиц этого общества. Но вскоре уже не хватает людей для поддержания государства и приходится звать иноземцев – сперва далматов, потом германцев. Пришельцы в конце концов становятся хозяевами, а остатки общества, аборигены, – рабами этих чужаков, с которыми их ничто не роднило и не роднит. Вот итог огосударственности – народ идет в пищу машине, им же и созданной. Скелет съедает тело. Стены дома вытесняют жильцов.

Осознав это, трудно благодушеествовать, когда Муссолини с редкостным апломбом провозглашает как некое откровение, чудесно снизошедшее на Италию: «Все для государства, ничего, кроме государства, ничего против государства!» Одно уж это выдает с головой, что фашизм – типичная доктрина массового человека. Муссолини заполучил отлично слаженное государство, и слаженное отнюдь не им, а той самой идейной силой, с которой он борется, – либеральной демократией. Он лишь алчно воспользовался ее плодами, и, не входя сейчас в детали его деятельности, можно констатировать одно: результаты на сегодня просто несопоставимы с тем, чего достиг в политике и управлении либерализм. Эти результаты, если они вообще есть, настолько ничтожны, незаметны и несущественны, что трудно оправдать ими ту чудовищную концентрацию власти, которая позволила разогнать государственную машину до предела.

Диктат государства – это апогей насилия и прямого действия, возведенных в норму. Масса действует самовольно, сама по себе, через безликий механизм государства.

Европейские народы стоят на пороге тяжелых внутренних испытаний и самых жгучих общественных проблем – экономических, правовых и социальных. Кто поручится, что диктат массы не принудит государство упразднить личность и тем окончательно погасить надежду на будущее?

Зримым воплощением такой опасности является одна из самых тревожных аномалий последних тридцати лет – повсеместное и неуклонное усиление полиции. К этому неумолимо привел рост общества. И как ни свыклось с этим наше сознание, от него не должна ускользать трагическая парадоксальность такого положения дел, когда жители больших городов, чтобы спокойно двигаться по своему усмотрению, фатально нуждаются в полиции, которая управляет их движением. К сожалению, «порядочные» люди заблуждаются, когда полагают, что «силы порядка», ради порядка созданные, успокоятся на том, чего от них хотят. Ясно и неизбежно, что в конце концов они сами станут устанавливать порядки – и, само собой, те, что их устроит.

Стоит задержаться на этой теме, чтобы увидеть, как по-разному откликается на гражданские нужды то или другое общество. В самом начале прошлого века, когда с ростом пролетариата стала расти преступность, Франция поспешила создать многочисленные отряды полиции. К 1810 году преступность по той же причине возросла и в Англии – и англичане обнаружили, что полиции у них нет. У власти стояли консерваторы. Что же они предпринимают? Спешат создать полицию? Куда там! Они предпочли, насколько возможно, терпеть преступность. «Люди смирились с беспорядком, сочтя это платой за свободу».

«У парижан, – пишет Джон Уильям Уорд, – блистательная полиция, но они дорого платят за этот блеск. Пусть уж лучше каждые три-четыре года полдюжине мужчин сносят голову на Ратклиф Род, чем сносить домашние обыски, слежку и прочие ухищрения Фуше». Налицо два разных понятия о государственной власти. Англичане предпочитают ограниченную.

XV. ПЕРЕХОДЯ К СУТИ ДЕЛА

Суть такова: Европа утратила нравственность. Прежнюю массовый человек отверг не ради новой, а ради того, чтобы, согласно своему жизненному складу, не придерживаться никакой. Что бы ни твердила молодежь о «новой морали», не верьте ни единому слову. Утверждаю, что на всем континенте ни у кого из знатоков нового *ethos* нет и подобия морали. И если кто-то заговорил о «новой», значит, замыслил новую пакость и ищет контрабандных путей²⁰.

Так что наивно укорять современного человека в безнравственности. Это не только не заденет, но даже польстит. Безнравственность нынче стала ширпотребом, и кто только не щеголяет ею.

Если отвлечься, как мы и делали, от пережитков прошлого – христиан, идеалистов, старых либералов и т. д., – то среди современных альянсов не найдется ни одного, который не исходил бы из убеждения, что за ним числятся все права и ни единой обязанности. Не важно, рядятся ли при этом в реакционеров или революционеров: под любой личиной и при любом удобном случае решительно отбрасывают обязанности и притязают, сами не ведая почему, на неограниченные права.

Что бы ни одушевляло, все сводится к одному и становится предлогом не считаться ни с кем и ни с чем. Если кто-то играет в реакционера, то наверняка для того, чтобы под видом спасения отечества и государства сравнять с землей все остальное и с полным правом топтать ближнего, особенно если тот чего-то стоит. Но и в революционеров играют с той же целью: наружная одержимость судьбой угнетенных и социальной справедливостью служит маской, освобождающей от досадной обязанности быть правдивым, терпимым и, главное, уважать человеческие достоинства. Я знаю немало людей, которые вступили в ту или иную рабочую партию

¹⁹ Вспомним последний наказ Септимия Севера сыновьям: «Держитесь вместе, платите солдатам и забудьте об остальном».

²⁰ Не знаю, найдется ли сейчас десяток людей, рассеянных по миру, которые видят воочию ростки того, что со временем действительно может стать новой моралью. И, уж конечно, не эти люди делают погоду.

лишь затем, чтобы обрести внутреннее право презирать интеллигенцию и не смотреть на нее снизу вверх. Что ж до диктатур, то мы уже налюбовались, как там льстят толпе и топчут все, что выше ее уровня.

Отвращением к долгу отчасти объясняется и полусмешной-полупустыдный феномен нашего времени – культ молодежи как таковой. Все от мала до велика подались в «молодые», прослышав, что у молодых больше прав, чем обязанностей, поскольку последние можно отложить в долгий ящик и приберечь для зрелости. Молодость как таковую всегда освобождали от тяжести свершений. Она жила в долг. По-человечески так и должно быть. Это мнимое право ей снисходительно и ласково дарят старшие. И надо же было настолько одурманить ее, что она и впрямь сочла это своим заслуженным правом, за которым должны последовать и все прочие заслуженные права.

Как ни дико, но молодостью стали шантажировать. Вообще мы живем в эпоху всеобщего шантажа, у которого два облика с дополняющими друг друга гримасами – угрозой насилия и угрозой глумления. Обе служат одной цели и равно пригодны для того, чтобы людская пошлость могла не считаться ни с кем и ни с чем.

Поэтому не стоит облагораживать нынешний кризис, видя в нем борьбу двух моралей, или цивилизаций, – обреченной и новорожденной. Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее – всегда в подчинении чему-то, в сознании служения и долга. Но слово «попросту», пожалуй, не годится. Все гораздо сложнее. Попросту взять и избавиться от морали невозможно. То, что грамматически обозначено как чистое отсутствие, – безнравственность – не существует в природе. Если вы не расположены подчиняться нравственным устоям, будьте любезны подчиниться иной необходимости и *velis nolis* [17] жить наперекор им, а это уже не безнравственность, но противонравственность. Не просто отрицание, но антимораль, негатив, полый отгиск морали, сохранивший ее форму.

Как же умудрились уверовать в антиморальность жизни? Несомненно, к этому и вела вся современная культура и цивилизация. Европа пожинает горькие плоды своих духовных шатаний. Она стремительно катится вниз по склону своей культуры, достигшей невиданного цветения, но не сумевшей укорениться.

В этой книге я попытался обрисовать определенный тип человека и, главным образом, его взаимоотношения с той цивилизацией, которой он порожден. Это было необходимо потому, что персонаж моей книги знаменует собой не торжество новой цивилизации, а лишь голое отрицание старой. И не надо путать его психограмму с ответом на главный вопрос – каковы же коренные пороки современной европейской культуры. Ведь очевидно, что ими в конечном счете и обусловлено сегодняшнее преобладание этой человеческой особи.

Но такой ответ ввиду непомерной трудности вопроса выходит за рамки книги. Понадобилось бы развить во всей полноте ту концепцию человеческого существования, которая здесь едва намечена и звучит по-бочно. Об этом говорится вскользь и вполголоса, а скоро, быть может, придется кричать.

КОММЕНТАРИЙ

ВОССТАНИЕ МАСС

(La rebelion de las masas). – О. С., 4, p. 113-310.

Впервые напечатано в 1930 г. отдельной брошюрой в издании «Ревиста де Оксиденте». В работе 15 глав. В настоящем издании печатается перевод I, V, VI, VIII, X, XI, XIII и XV глав. В Полн. собр. соч. в состав «Восстания масс» включены еще три текста: 1. Введение к французскому изданию 1937 г.; написано в Голландии, где Ортега находился по приглашению И. Хейзинги. Название введения – «Единство и многообразие Европы». Здесь рассматриваются процессы политической и духовной дезинтеграции Европы главным образом как следствия набравшего силу массового экстремизма. 2. Послесловие к английскому изданию 1938 г.; написано в декабре 1937 г. в Париже. Здесь автор взывает к обладающей «характером», «терпимой» и «молчаливой» нации англичан – содействовать интеграции многообразных национальных «жизненных форм» Европы на общеевропейской культурной основе: «У каждого европейского народа есть свое, – писал Ортега, – но важнее общее: не замыкаться в своем, не становиться «европейской» нацией, а быть европейской «нацией» (О. С.) 4, p. 285). 3. Небольшая работа «Относительно пацифизма»; написана в Париже также в 1937 г. Здесь философ, справедливо отмечая недееспособность существовавших тогда политических и правовых механизмов «замирения» Европы, олицетворением которых являлась Лига наций, указывал утопический, а по существу реакционный в тогдашних условиях консолидации фашистских режимов путь восстановления европейского единства – в направлении возрождения общеевропейской «дисциплины духа» как основы «нового либерализма». Ради достижения этой цели Ортега примирялся с тоталитарными режимами: в них, по мнению философа, должны сгореть, как в жертвенном огне, скверны старого либерализма (см.: О. С., 4, p. 310).

Основной текст «Восстания масс» многими читателями был воспринят как пророчество грядущей катастрофы Запада. Издание «Восстания масс» на немецком языке принесло Ортеге международную известность и признание. Вольфганг Дреус в некрологе Ортеге, опубликованном в октябре 1955 г. в газете «Ди Вельт», утверждал: «Немного книг в Германии времен диктатуры и затмения разума были столь же читаемы, как «Восстание масс». По данным Х. Мариаса на конец 50-х гг., эта работа была издана в Германии общим тиражом более 300 тыс. экз. Неоднократно издавалась она и на других европейских языках, а также в Канаде и США. В СССР перевод «Восстания масс» опубликован в № 3 и 4 журнала «Вопросы философии» за 1989 г.

Успех «Восстания масс» складывался из многих компонентов. У части читателей эта книга удовлетворяла потребность в пророчествах; импонировал «реалистический», «трезвый» подход к оценке сложившие-

гося положения дел, намерение дойти до его истоков; у либеральной интеллигенции, у средне- и мелкобуржуазного читателя находил отклики идеологический центризм Ортеги, оптимистические воззвания к твердой воле, здравому смыслу, исконной «духовности» европейца. Критика «массового человека», несмотря на избыток риторики, воспринималась как умеренная. С другой стороны, резкая критика фашизма стала причиной официального непризнания Ортеги франкистским режимом.

Однако было бы неправильно видеть в «Восстании масс» только политический памфлет. Эта работа занимает заметное место в социологии и философии культуры Ортеги; она рассматривалась автором как попытка построения общей социологической теории в связи с анализом условий и причин кризиса фундаментального, по убеждению Ортеги, «общественного отношения» – отношения между избранным меньшинством и массами – и как отправная позиция для более широкого, комплексного исследования «радикальной реальности» (человеческой жизни), которое составило содержание ряда работ 30-х гг. (особенно «*Ensimismatiehto u alteracion*», 1939; «*Размышление о технике*», 1933) и было завершено в посмертно изданной книге «*Человек и люди*» (1957).

[1] Хиньяна, махаяна (соотв. «малая» и «большая» колесницы; санскрит) – в учении буддистских сект сарвастивадинов и маха-сангхиков так называются пути, ведущие души людей к спасению от страданий, каковые, согласно буддизму, сопровождают действия людей, имеющие цель удовлетворять повседневные желания. Идеи хиньяны и махаяны были сформулированы на IV великом соборе буддистов при Канишке в I–II вв. н. э. В дальнейшем, после III в., в махаяне усваивается воспринятая из христианства идея страдающего за людей спасителя.

Согласно хиньяне, освобождение от страданий происходит посредством постепенной утраты человеком личностного начала на пути индивидуальной самодисциплины и медитации. Целью является полное освобождение души от непостоянства повседневного мира и переход к единственно постоянному состоянию – нирване, то есть к состоянию запредельному как бытию, так и небытию. Достичь нирваны, а со смертью «окончательно угаснуть» в ней могут только совершенные существа – будды и архаты. Таким образом, хиньяна – индивидуалистическое, интеллектуалистическое и аскетическое учение.

В махаяне субъектом учения является страдающий бодхисатва; целью своей жизни он избирает принятие на себя деяний и страданий людей, готовность нести бремя страданий всех людей во исполнение обета их спасения. Мир махаяны включает многочисленных великодушных и благородных бодхисатв: сострадающих, помогающих страждущим, карающих за ложь и заблуждения, наставляющих добродетели, воспитывающих оступившихся и т. д.

[2] По-видимому, Ортега имел в виду рассуждения Гегеля во «Введении» к «Философии истории» по поводу кризиса, способного пронизать «народный дух», когда он достигает своего завершения и осуществления (или, говоря словами Ортеги, полноты существования). По Гегелю, народ в этих условиях склоняется к тому, чтобы воспринимать достигнутое, ставшее обыденным, обычным, как принцип своего права. Это побуждает его пересматривать свои обязанности с точки зрения их обоснованности. В свою очередь это ведет к изолированию индивидов друг от друга и от целого; «у них развивается себялюбие и тщеславие, они стремятся к личной выгоде и добиваются ее в ущерб целому...» (Гегель. Философия истории. – Соч., т. 8, М. – Л., 1935, с. 73).

[3] В 4-томном труде «Система позитивной политики» О. Конт разрабатывал идею новой религии человечества как руководящей силы в политическом и социальном преобразовании человечества; в ней он отводил себе роль первосвященника. Известно также, что О. Конт пытался привлечь к реализации своего замысла царя Николая I, турецкого визиря, орден иезуитов...

[4] Выражение, схожее с русским «Гуляй, душа!».

[5] Ради жизни утратить смысл жизни (лат.; Ювенал. Сатиры, VIII, 84).

[6] В общих чертах, в целом (итал.).

[7] Испанский вариант синдикализма – это анархо-синдикализм, или (в терминологии испанских анархистов) революционный синдикализм.

[8] Последний довод (лат.).

[9] Первый довод (лат.).

[10] Великая Хартия (лат.) вольностей. Имеется в виду официальный юридический документ английской короны, обнародованный в 1215 г., в котором были заложены основоположения конституционной формы правления.

[11] В широком смысле (лат.).

[12] Тень, призрак (франц.).

[13] Во веки веков (лат.); здесь – единожды и навеки.

[14] «Силлабус» (sillabus – перечень; латин.) – приложение к папской энциклике от 8 декабря 1864 г., названное «Перечень главнейших заблуждений нашего времени», в число которых включены (и осуждены Церковью) общественно-политические и религиозные движения, научные и иные принципы, подрывающие учение католической церкви и авторитет римского папы. В 1907 г. был издан еще один «Силлабус», направленный в основном против модернизма в католицизме.

[15] Термин «социальная физика» употреблялся в XVII в. для обозначения наук об обществе, но еще в XIX в. им пользовались философ О. Конт и статистик А. Кетле. В широком значении – ориентация на физику как на образцовую науку при разработке социальных теорий.

[16] В утопии Платона философам отведена роль мудрых правителей государства.

[17] Хочешь не хочешь (лат.).